

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

МАЙ

30

1939 г.

ВТОРНИК

№ 30 (809)

Цена 30 коп.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Выходит под редакцией В. Вишневского, А. Кулагина,
В. Лебедева-Кумача, М. Лифшица, Е. Петрова,
Н. Погодина, А. Фадеева.

ОРГАН
ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА
СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР.

ЕПИХОДОВ И ДРУГИЕ

А. ГОРНФЕЛЬД

Епиходов — какая странная фамилия. Почему она звучит так странно и так удивительно соответствует облику этого человека? Она странная и в то же время какая-то жуткая. В «Вишневом саду» все жутко. Жутко уже то, что Чехов видел в своей пьесе веселый фарс, а для Станиславского это была «тяжелая драма русской жизни». Расходясь так решительно, кто же был из них прав — поэт или его лучший истолкователь? Но мы и не пытаемся их примирить и живем в ощущении, что оба были правы.

«Ревизор», — говорили в свое время, — страшен тем, что в нем нет ни одного «положительного лица», что в нем все какие-то уроды. «Вишневый сад» страшнее: в нем уроды в масках прекрасных людей, или — они же — прекрасные люди в масках уродов. Все неразличимо, все многослойно, все смешано, все в гротеске, безумном, невероятном, и, однако, реальном, милом, однако, возмущающем, забавном, однако, страшном.

Все окружающие, например, ласково внимательны к старому Фирсу, но пьеса кончается тем, что все раз'езжаются, а его, умирающего, заколачивают в пустом доме, как в гробу. Это делают благородные, честные, добрые люди — и это необходимо в безумной атмосфере вишневого сада. Не надо думать, что здесь виновата предвзятая суетока: вся жизнь этих людей так же суетливо бестолкова, как их от'езд.

Хороши они или плохи, старые и молодые, привлекательные и отталкивающие, верхи и низы, — люди этого прекрасного вишневого сада все так или иначе неполноценны. Студент Трофимов может еще отмахнуться от денег, предлагаемых ему Лопухиным, и заработать переводом, но прочие сверху донизу могут жить только чужими, не трудовыми деньгами или состоять при тех, кто такими деньгами живет. Любовь Андреевна Раневская — прелестное существо, обожаемое окружающими: нежная и искренняя, порывистая и отзывчивая, вся какая-то оветлая, она не только неспособна на какое-либо активное дело, — она создана, чтобы сеять вокруг себя только добро, — а ведь трудно подсчитать, сколько всепроникающего зла исходит из ее безделья, из ее амуров, из ее легкомыслия, из ее расточительности, из наивной и органической потребности всегда быть кем-то обслуживаемой.

Нельзя безнаказанно принадлежать хозяевам вишневого сада: это непременно ведет к ослаблению нравственного чувства, к ущербу здравому смыслу, к утрате жизненной ориентации.

Всерез ли говорит Леонид Андреевич Гаев или по обыкновению строит из себя шута горохового, — все равно: это всегда шутство, забавное и невыносимое. «Ты уходи, Фирс, — говорит этот немолодой уже и порядочный человек восьмидесятишестилетнему Фирсу. — Я уж, так и быть, сам радеюсь». Это, может быть, шутка, но ведь это и очень серьезно. «Тебя все любят, уважают... но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать». И он это знает и кается в своей буфонской речи к шкафу — и тут же балаганит. За немением лучшего Гаев пойдет — на полчаса — на службу в банк, но, по существу, средства к жизни должен давать не труд: все основано на мысли о чужих деньгах.

«Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство, хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека, хорошо бы поехать в Ярославль и попытаться счастья у тетушки графини». Так мечтают эти порядочные и благородные люди. Им везет: тетка, действительно, дала пятнадцать тысяч, — на выкуп вишневого сада нехватило, но на новую поездку Любови Андреевны в Париж в сопровождении лакея Яши к возлюбленному хватит.

Пока что деньги в этом строе сваливаются имущим на голову — и они это знают, и это поддерживает их в их невменяемости и безделье. «Не теряю никогда надежды, — смеется забубенный Симеонов-Пищик. — Вот, думаю, уж все пропало, погиб, ан, глядь, — железная дорога по моей земле прошла и... мне заплатили. А там, глядя, еще что-нибудь случится не сегодня-завтра... Двести тысяч выиграл Дашенька... у нее билет есть». И выигрывает: ведь азартные игроки всегда выигрывают, пока не проиграются окончательно.

Это не бессмыслица счастливого случая: это бессмыслица быта, бессмыслица строя. И все окружающее — будет ли это Шарлотта со своими фокусами или Лопухин со своими миллионами — органически восполняет этих родовитых «людей воздуха», восполняет социальный сумбур, которым завершается многовековое дворянское царство.

Понятным, нормально осмысленным здесь не может быть ничто и никто. Старый Фирс восхитителен в своей трогательности, в своей наивности, в своей заботливости о других, но ведь он страшен в своей преданности господам, в своей насквозь рабьей психологии. Крепостное рабство вышло в нем свободную душу.

II

Как зовут этих людей «Вишневого сада»? Как выражен их общественный и личный облик в их родовых именах?

Как полагается, у Фирса, у Яши, даже у гувернантки Шарлотты Ивановны — нет фамилии. «А откуда я и кто я, не знаю... — говорит Шарлотта: — Кто мои родители, может, они не венчались... не знаю». У людей без роду какие же родовые имена? Они только в паспорте значатся; окружающим до них никакого дела нет. Студент Трофимов — это только Трофимов: серо и незаметно; куницу Ермолаю Лопухину гордиться благозвучием своего имени тоже не приходится, так как «лопуха», «лопуха» значит обжора или лгуш. А горничная Дуняша, встретившись с Яшей после его приезда, напоминает: «Дуниша, Федора Козодова дочь. Вы меня не помните». Ну, конечно, мужику кем же и быть, как не Козодовым. У мужиков вообще долго не было никаких фамилий. То ли дело Раневские, Гаевы, Симеоновы-Пищики: у них не только большие имена, но и большие имена.

Впрочем, в эпоху «Вишневого сада» имена эти столь стремительно переходят к Лопухиным, что, кажется, у владельцев таких имен скоро останутся только имена. Зато громки и звучны эти имена. Кажется, достаточно назвать их, чтобы потребовать почтения к носителю такого барского имени.

И вот, среди них Епиходов. Семен Пантелевич по имени, конторщик по профессии, «двадцать два несчастья» по прозвищу. «Не могу одобрить нашего климата, — говорит он и вздыхает. — Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности».

Этих немногих слов достаточно, чтобы ввести нас в атмосферу скудоумия, беспомощности, претенциозного косноязычия, определяющую Епиходова. Никому нет дела до его скрипящих сапог, но он их «присовокупляет» к климату, который тоже обходится без его «одобрения». При этом, смешной и жалкий для всех, он полон ощущения своего достоинства, равенства всем и некоторой роковой избранности. Приниженный и в то же время бессмысленно гордый сознанием своей предвзятости неудачливости, он неизменно с самого начала до конца также косолопо натывается на стулья, роняет букеты, давит коробки с шляпами, ломает кий, как и беспомощно барахтается в плохих усвоенных трафаретах того, что ему кажется языком образованности.

«Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я присыпалась, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук... Вот такой... И тоже кvasу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, в роде таракана (пауза). Вы читали Бокля?»

Этого удара на я — Бокля — нет в печатном тексте Чехова, но оно есть в исполнении Художественного театра, — и кто бы ни был создателем этой мелочи — актер, режиссер или писатель — она достойна автора «Вишневого сада», в ней превосходно выразилась живая Епиходов. Он весь в этом монологе. Его прозвище, ставшее крылатым словом, примечательно, как весь его облик. Осмысленной бессмыслицы полна и эта кличка. Епиходов неудачлив, неловок, ограничен, не знает своего места, его преследуют — мнимые или настоящие — несчастья: но почему двадцать два? Откуда эта убийственная, нещепая и злая математическая точность? Она характеризует его, она смешна и бессмысленна, как весь ее носитель в своих повадках и претензиях. Не разве она только смешна? Сам Епиходов разве только смешон?

«Вы... не желаете меня видеть, — говорит он, тяжело вздыхая, Дуняше: — как будто я какое насекомое... Несомненно, может, вы и правы. Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа». Это нескладно и беспомощно, но

ведь оно выражает искреннее чувство. Епиходов хочет только сказать, что любит Дуняшу. Он полон неподдельного и, быть может, глубокого чувства, но вызывает только смех. Он хотел бы найти достойную форму для своих излияний и умеет только загромождать их без нужды у кого-то замаскированными и неуместными «собственно говоря», «позвольте вам присовокупить» и т. д.

«Я развитый человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется, жить мне, али застрелиться... но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер» (показывает револьвер). Это потешает окружающих. «Ты, Епиходов, очень умный человек и очень страшный», — трунит над ним Шарлотта. Но Дуняша, в которую он безнадежно влюблен, знает его лучше. «Не дай бог, застрелится», — беспокоится она, и тем выражает общее чувство: нелепым самоубийством и даже нелепым убийством может случайно и последовательно закончиться нелепая болтовня этого горделивого и забитого неудачника. Точно рыжий в цирке, он неловко толчется среди действующих лиц, вызывая во всех пренебрежительную усмешку несообразностью всякого своего движения, внутреннего и внешнего. Без толку мечется он не только в комнатах помещичьего дома, но и между классами. Он конторщик, к нему относятся благодушно, но его третируют, как лакея, ему говорят ты; раздраженная, но ведь не зная Варя попросту выгоняет его с вечеринки. «С меня высылать, позвольте вам выразиться, вы не можете, — обиженно говорит он: — Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие». И услышав в ответ: «Убирайся же вон отсюда! Сию минуту!» — он тотчас же струится: «Прошу вас выражаться деликатным способом».

Его поверхностное, ходульное, пусто-поверхнее высокомерие — только попытка самозащиты, и такая же жалкая, как весь он. Социальный межеумок, культурный недоносок, еле коснувшийся обрывков какого-то знания, он также мало способен занять свое место и отстоять себя, как и справиться с маяющими его формами образованности или с требованиями простого здравого смысла и окружающего быта. Выбитый из колеи, он неожидан в действиях, как неожидан в словах.

Проявления скудоумия так же непредвидимы, как проявления ума; в этом смысле в глупости есть своя выдумка, свое извращенное, пародированное творчество. Можно предвидеть, как поступит или что ответит Трофимов или Лопухин, но невозможно в путях здравого человеческого рассудка предсказать, что сделает или скажет Епиходов. Он нелеп, то-есть нелогичен — и вот это расхождение с ожидаемым, с предвиденным, с логичным замечательно выражено в его фамилии.

Чтобы понять это, надо разложить ее и осмыслить. Она состоит из двух частей, по происхождению вполне разнородных и ничем логическим не связанных. В русском языке слова, начинающиеся слогами **е**пи, — это слова греческого происхождения и церковного обихода: епископ, епитрахиль, епитимья, епархия. В более старом языке употреблялись и иные аналогичные образования: говорили епитет, епидемия и т. п. Но это ново-греческое чтение давно вышло у нас из научно-литературного обихода, и лишь как смешные архаизмы воспринимаем мы (принятые еще в словаре Даля) епитафию и эпизод, епилепсию и елилог. Однако в составе этих слов есть логика. Не то здесь. Слово Епиходов начинается с «Епи». В ощущении, привыкшем к епископу и епархии, возбуждается ожидание чего-то истового, церковного, древнеэллинского, во всяком случае, не русского. И вдруг после «Епи» мы слышим: ходов. Почему «ходов»? как здесь может быть «ходов»? Иностранное должно бы заканчиваться иностранным, архаическое начало предполагало бы и архаический конец; во всяком случае, требовалось бы какое-либо смысловое оправдание. В русском языке есть — хотя очень редки — слова такого двузвучного происхождения, каковы, например, новое техническое «теплофикация» или старое семинарско-юмористическое «протоканалья»; но там и здесь ясен смысл, — и во всяком случае это не те слова, которые в свое время могли стать прозвищем и основой для фамилии.

Имя собственное вытекает из нарицательного — оно должно быть хоть в своем истоке понятно. Понятия, естественна, разумна фамилия Тихоходов, Скороходов, Пароходов, если угодно, — Кривоходов, Переходов: это может что-нибудь значить, это имеет свой смысл, свою логику. Но какая логика, какой смысл в слове Епи-

ходов? Епиходов — это не только ничто не значит: это бессмысленно по своей структуре, это нелепо, как нелеп человек, носящий это имя. Это его характеристика в его имени.

И символичность этого имени, конечно, глубже и реалистичнее подчеркнутости таких фамилий, как Стародум и Скалозуб, Собакевич и Разуваев, так как здесь выразительность достигнута более тонким путем.

Некоторую аналогию с Епиходовым в столь же неподходящем сочетании несвязанного представляет в «Вишневом саду» фамилия Симеонов-Пищик. Подобно Гаеву и его сестре, это старый барин, не приспособившийся к новому экономическому укладу, умеющий жить только остатками бывшего помещичьего благополучия и вечно поглощенный добыванием не заработанных, а с ветру нахапаных денег. Он не забывает своей родовитости, но, беспомощный истомок старинного рода, он уже издается над нею: «Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто древний род наш Симеонов-Пищиков происходит будто бы от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате».

И вот эта юмористическая достоинственность старо-дворянского рода также получила меткое выражение в громком родовом имени, как и в бестолковой фамилии разночинца Епиходова. Симеонов-Пищик: в соответствии с архаической почтенностью не просто Семенов, а Симеонов — представляется нечто библейское, торжественное. И вдруг после этой торжественности — вторая половина: Пищик. Самый звук этого прозвища не внушает никаких почтительных чувств. К тому же, «пищик» — это ведь значит свистулька, дудочка. «Пищик» — это было прозвище человека, от которого пошел древний род. Трудно себе представить, чтобы особым уважением пользовался этот отдаленный предок дворян Симеонов-Пищиков, если он носил такое прозвище. Вся барская достоинственность Симеоновых сводится на нет искливым звукоподражанием второй половины громкого родового прозвища. Как будто благозвучно и аристократично, но гораздо больше комично, как и весь бесшабашный и восторженный, наивный и невежественный Борис Борисович Симеонов-Пищик.

И здесь тоже нет отступления от реальности ради комизма: среди дворянских фамилий было достаточно звучащих старой бытовой грубостью: были там и Квашины и Жеребковы, а родоначальником Романовых был, как известно, Андрей Кобыла.

После тонкого разбора трех форм, в которых является имя героини «Свадьбы Фигаро» — Сюзанна, Сюзетта и Сюзон, Виктор Гюго замечает: «Только гениальному поэту присуще умение давать своим созданиям имена, похожие на них».

В личных и родовых именах персонажей Чехова — особенно в его ранней юмористике — немало поверхностной выразительности и дешевого комизма. Но чем дальше, тем глубже эта выразительность и содержательнее комизм, и некоторые фамилии у него — напомним хотя бы всем известного унтера Пришибеца и мало кому известного художника Шишмачевского — могут быть названы поистине замечательными. Это мелочь, конечно, но не в одном искусстве великое складывается из мелочей.